

Дорон Рабинович
И БЕЗ ТОГО
Роман

Образец перевода © Любовь Расцветаева 2015

посвящается Ксиане

1

Когда-то должен быть конец. Хватит с нас гор трупов, довольно о войне и преступлениях. Палец касается, наверняка уже в двадцатый раз, красной кнопки на пульте дистанционного управления, проскальзывает мимо, нажимает другую клавишу, и картины меняются, мелькая на экране, тут глаза убийцы, там тела, раскачивающиеся в хип-хопе, а вот какая-то говорит, я тебе изменяла, это – наша сегодняшняя тема, а на заднем фоне ликует публика.

Телевидение без снисхождения. Он смотрел, хотя – или потому что – ничего не видел. Когда его бросало в дрожь при мысли об обязательствах, когда их количество его пугало, он обращался к телевизору. В надежде, что блеск огней его подогреет. Но, мечась с канала на канал, Штефан все больше замерзал, коченел перед аппаратом, застывал, не находя в себе даже энергии, чтобы сходить на кухню и намазать себе хлеба с маслом или заварить чаю. Если бы он только встал, чтобы разогреть суп, по-быстрому, в микроволновке, он бы за эти несколько минут смог прийти в себя и подумать о том, сколько времени уже потрачено впустую.

Он хотел использовать это утро, чтобы, наконец, записать то, что заметил уже несколько недель назад. Одна пожилая пациентка, бывшая учительница немецкого, память которой постепенно угасла, и которая забыла все слова, упала с кровати. Чтобы облегчить боль, он, вдобавок к ее обычным лекарствам, дал ей лигатил, средство, зарегистрированное лишь недавно. Несколько дней спустя на утреннем осмотре пациентка впервые за долгое время была опять в состоянии поздороваться с ним, и вообще выглядела бодрее. Было ли это улучшение случайностью? В этот момент в нем зародилась надежда, что он, может быть, открыл волшебное зелье, комбинацию разных медикаментов, смесь из мнемодина, нейропротекса и лигатила, которая при определенных пропорциях оказывала стимулирующее действие на память. Время от времени неврологии удавалось побороть ослабление памяти; была возможность сбалансировать недостаток или переизбыток необходимого нейротрансмиттера, иногда удавалось защитить от дальнейших повреждений важные нервные структуры, например чувствительные окончания клеточных рецепторов, но то, что поглотило забвение, как правило, спасти не удавалось, все распадалось в золу. Поэтому он едва мог поверить, когда и у другого пожилого пациента появились отчетливые признаки улучшения. Ему он также после падения дал лигатил. Разве больной, еще недавно никого не узнававший, не воскликнул снова «Роза», когда его жена вошла в палату? Разве этот лежачий пациент не начал вдруг рассказывать медсестре о своей бывшей адвокатской конторе? Было нетрудно этими двумя случаями произвести впечатление на профессора Франца Кальбауэра, убедить его в необходимости исследования. Загадочное взаимодействие мнемодина, нового ингибитора ацетилхолинэстеразы, нейропротекса, который обволакивал определенные рецепторы защитной оболочкой, и лигатила, обычно применявшегося от болей и порой от депрессий, обязательно нужно было проверить, и шеф попросил его набросать концепцию исследования. Но теперь Штефану Зандтнеру не удавалось ухватить то, что привело его в восторг несколько дней назад. Слова застревали в нем. В больнице он знал, как говорить о своих планах, еще только намечавшихся, и, таким образом, он разговорился перед профессором Кальбауэром, а теперь его идеи казались ему банальными. Может быть, ему слишком легко удалось убедить старого невропатолога. Такой быстрый успех вызывал сомнения. Так ли необходимо было в действительности проверять последствия воздействия мозаики из препаратов на память? Разве он недостаточно знал такие тесты? Бесконечные эксперименты, о которых никто понятия не имел, помогут ли они или нет. Он даже не знал, каким заглавием можно было назвать и оправдать эту работу. Только подзаголовок можно было прочесть на мониторе: Проект исследования д-ра Штефана Зандтнера.

Сомнения охватили его, и он, который должен был сформулировать, какие задачи имело бы такое исследование, какой цели оно должно было служить, теперь и сам уже больше в это не верил, искал какую-нибудь перспективу в телевизоре и надеялся расслабиться. Но от того, что передавали по телевидению, на душе не стало светлее. Все идеи и намерения рассеялись, словно дым, в мерцании экрана. Для многих пациентов в больнице телевизор был благословением. Перед экраном самые пугливые успокаивались, и временами Штефан включал аппарат, чтобы отвлечь больного, которому он должен был сделать укол, ибо тогда многие становились не такими потерянными и неуверенными, не смотрели на него, а поднимали глаза мимо него на экран и улыбались при виде юных красавиц. Они преклонялись перед тем, что им показывали. Самые невменяемые испытывали благоговение. Каждая передача превращалась в святое причастие.

Когда Штефан записывал какой-нибудь фильм, он потом никогда не прикасался к кассете, а ставил ее, внеся в список, в видеотеку и уже больше не обращал на нее внимания. Он говорил себе, что когда-нибудь ее посмотрит, и так на том и оставалось, так как каждый раз у него находилось какое-нибудь лучшее и более важное занятие, как, например, сейчас, когда речь шла о том, чтобы засесть за концепцию исследования, не дать этим выходным в августе тысяча девятьсот девяносто пятого года пройти впустую, тем более, что по будням, а иногда и ночью, ему приходилось быть на службе. Он никогда не сидел перед телевизором из удовольствия, а лишь когда не знал, как быть дальше, и лишь нечистая совесть гнала его с одного канала на другой.

Он все еще сидел неподвижно перед аппаратом и решил в последний раз пройтись по всем каналам, чтобы стало ясно, что он ничего не упустит и можно выключить телевизор, когда наткнулся на некое ток-шоу и завис, увидев скандально известного бульварного журналиста; и Штефана охватило чувство пресыщения, потому что не было сил снова слушать вечно одни и те же фразы, не хотелось впасть в праведный гнев. Спасаясь от обязательного негодования, он решительнее нащупал пальцем красную кнопку и сказал вслух: «Когда-то должен быть конец», но в то самое мгновение, когда он произнес эти слова, оратор сказал в микрофон то же самое: «Когда-то должен быть конец», и под всплеск аплодисментов пульт дистанционного управления выпал из рук молодого врача.

Уже несколько недель, как ему казалось, он всюду и от многих слышал эту сентенцию, и когда кто-нибудь из его знакомых затягивал старую песню, что, мол, он больше не в силах слышать об австрийской политике, Штефан рассчитывал, что придется выслушать пространную тираду. Они безостановочно уверяли, что с них довольно рассуждений об отечественных проблемах, а ему становилось тоскливо от этих всегда одинаковых речей, ибо слушая их длинные рассуждения, он ни о чем не мог думать, кроме Сони.

Забудь о ней, убеждали его все вокруг. В своих неврологических исследованиях Штефан искал возможность повысить способность запоминания у пациентов, и с особенным восторгом он наблюдал мнемонистов, например, людей, которые умели решать в уме сложные уравнения. Искусство памяти не было ему чуждо, но искусством забвения он не владел, и все попытки списать Соню со счетов оканчивались провалом.

Когда зазвонил телефон, он почувствовал себя ребенком, застигнутым на месте преступления, и поспешно выключил телевизор. Он бросился к трубке, но ответив, услышал, как раздраженно прозвучало его «алло», как будто звонящий помешал ему в важной работе, не терпящей отлагательств. Шершавый голос старого человека. «Герр доктор, простите, что я беспокою вас в выходные. Это Пауль Гутман. С Легаргассе¹. Ваш бывший сосед, отец Миши с третьего этажа.»

«Но помилуйте, герр Гутман, неужели вы думаете, что я забыл, кто вы? Как вы поживаете?»

«Жив пока» отвечал тот, и это прозвучало так, как будто старик жалел, что пока жив. Штефан еще ребенком был восторженным поклонником Пауля Гутмана. Коммерсант каждый раз доставал для него из кармана малиновый леденец, шутил с ним, рассказывал анекдоты. Все любили его за открытую душу. Отец Штефана симпатизировал Гутману, но никогда Вильгельм Зандтнер не осмелился бы подражать еврейскому оптовику родом из Румынии. Юрист, член верховного конституционного суда, он слишком заботился о своем достоинстве и, что было еще важнее, о своем хладнокровии.

«Герр доктор...»

«Но, герр Гутман, я прошу вас, оставьте эти...»

«Нет, нет, не перебивайте меня, вы теперь взрослый, герр доктор, и баста. Кроме того, я обращаюсь к вам как к медику. Простите, что я беспокою вас в субботу, но старый Кербер, вы ведь помните Герберта Кербера, врача-интерниста, папу Ганса и Бэрбль, короче, он рехнулся, стал совсем мешуге². Что я могу вам сказать, он ненормален, и я не знаю что делать.»

«А что именно с ним происходит?»

«Вот уже несколько дней он думает, что скрывается. Уборщица, работавшая также и у вашей семьи, вы знаете, Дежанович, она ходит для него за покупками, готовит ему еду, сегодня он не хотел впускать ее в квартиру, да что я вам рассказываю. Вы ведь все равно не поверите. Я подумал, интересный случай для вас, герр доктор Зандтнер. Взгляните на него.»

На Штефана произвело большое впечатление, что Пауль Гутман еще помнил его специализацию. Хотя коммерсант несколько раз за свою жизнь открывал целые сети магазинов, при всем неизбежном размахе он никогда не упускал из виду деталей, и до сих пор некоторые рассказывали о его легендарных способностях. Говорили, что он все договоренности, все соглашения, даже имена всех своих многочисленных служащих держал в голове. Его офис был пустой комнатой, – стол, стул и телефон, – лишенной какой бы то ни было роскоши или комфорта.

Штефан не испытывал большого желания заниматься старческим слабоумием бывшего врача-интерниста Герберта Кербера, которого в детстве боялся; тем более в выходные, за которые он собирался продвинуться вперед в своих исследованиях, но он так и не научился говорить нет. В нем пробудил любопытство рассказ Гутмана, а еще больше то, что тот не был готов рассказать. Как он мог отказать в просьбе герою своего детства? Перед глазами еще стоял образ прежнего Пауля Гутмана, одетого с отличным вкусом в синий однобортный костюм и белую рубашку, с розовым галстуком и подходящим к нему платочком в нагрудном кармане пиджака; осенью он под пальто носил кашне в цветочек, голову осеняло борсалино с широкими полями. У него была южного оттенка кожа, черные волосы, щеки почти казались заштрихованными. Его янтарно-карие глаза смеялись навстречу собеседнику, широко распахнутые, когда коммерсант был серьезен, но сужавшиеся в щелки, когда его охватывала радость.

Штефан обещал зайти еще до полудня, надеясь немного отвлечься, чтобы не думать о Соне. Положив трубку, он сел за стол, чтобы все-таки еще что-нибудь написать, но прежде, чем в голову пришло хоть одно слово, его затопило чувство одиночества, и ему стало по-настоящему тошно при мысли о том, какой он теперь потерянный без Сони. Вместе с ней он в последние месяцы лечил больных, вместе с ней наблюдал, как из остроумных и интеллигентных людей получались булькающие, пускающие слюни кроты. Каждую фразу, которую Соня начинала, он заканчивал. И наоборот. Таким образом, самая мысль о медицине была и мыслью об этой женщине, с которой он встретился еще в университете, которая привлекла его внимание еще до того, как оба они открыли свой интерес к неврологии. Они сидели перед застекленными витринами старой анатомички, оба готовясь к коллоквиуму по костям, с книгами на коленях. Жаркий июньский день больше десяти лет назад, в руках он держал, крутя в разные стороны и пробуя так и этак блестящий бледный суставной препарат, остатки суставной сумки и головки малой берцовой кости, бедренной кости, мениска и сухожилий, при этом поглядывая украдкой на стройные, почти острые светло-бронзовые колени студентки.

Годами позже, во втором разделе обучения, он снова увидел ее на практикуме по неврологии. Они оба были влюблены в свою специальность, посещали одни и те же мероприятия, по очереди проверяли друг друга, вместе занимались зубрежкой ночи напролет, засыпая над конспектами, потом вместе завтракали. Они сдали экзамен в один и тот же день, сначала он, потом Соня, и она на радостях залепила ему рот поцелуем, обняла его, забыв о всей аудитории, даже о профессоре, пока кто-то из студентов не засмеялся. Во время специализации у профессора Кальбауэра он перебрался в ее квартиру, но в последние недели перед дипломом они начали ссориться. В каждом ее движении он видел только прямые углы, с прижатыми локтями, со сжатыми кулаками она носилась по больнице. Его сердило, что она часто кхекала, прочищая горло, он ненавидел ее постоянное покашливание, и как она при этом безостановочно кивала головой. Как будто что-то внутри у нее царапалось и зудело. Каждые несколько минут она вывинчивала гигиеническую помаду и мазала губы. Теперь она казалась ему не прямой и основательной, а мелочной, плоской и застывшей, и все-таки он не мог от нее оторваться. Когда она открыла ему, что больше не знает, что с ним

делать, он почувствовал, что проваливается в бездну. Еще несколько ночей они лежали рядом, лица в слезах, любовь затянута илом.

С тех пор он снова жил в своем гарсоньере³. Он мог еще думать лишь о начале их общей жизни. Однако отвращение, возникшее в нем по отношению к клинике, оставалось. Но если несколько недель назад, когда он собирался успешно закончить свое образование, представление о возможной карьере и о совместном будущем с доктором Соней Крамар внушало ему тоску, то теперь Штефан думал, что без нее неврология для него не имеет смысла. Он хватался за любую возможность забыть об отделении хоть на мгновение. Ему годился любой предлог. Даже если речь шла о том, чтобы позаботиться о старом Кербере.

Может быть, он начал сомневаться в неврологии с тех пор, как диплом уже маячил перед глазами, и он получил предложение от профессора Кальбауэра. Успех, доставшийся слишком легко, больше его не интересовал. Разве не так было и с живописью? В школе он всем действовал на нервы своими набросками, рисунками и картинами маслом. Без всяких трудностей он получил место студента в Академии. После совместной выставки юных художников критики единодушно расхвалили его, но с этого времени он ни разу не взял в руки кисти. Он просто ушел из класса и ни с того, ни с сего решил изучать медицину.

Пока он так сидел за столом и бился над началом, никак не желавшим получаться, взгляд его упал на одну из тех картин, которые он закончил более десятилетия назад. Он встал, чтобы подойти к книгам. Может быть, в одной из них он найдет какую-нибудь мысль, которую можно будет поставить в начале проекта. Он провел пальцем вдоль книжной полки. Там был какой-то том без обложки, который показался ему знакомым, и он, чтобы вспомнить, что это, вытащил его наружу, но стоило ему прочитать название, как в нем снова вспыхнула боль. «Stories in an almost classical Mode by Harold Brodkey»⁴. В их первое лето, вскоре после сдачи экзамена по неврологии, Соня начала читать эту книгу. Перед его глазами еще стояла картина, как в один из тех давних дней, когда она на ночь забиралась к нему в постель, она сидела на диване, обняв подтянутое к груди колено и положив на него подбородок, и читала американские рассказы. Это был ее первый подарок. Он раскрыл книгу, увидел ее дарственную надпись и пролистал дальше.

Последние недели он обошел множество локалей⁵, чтобы вином и водкой смыть воспоминания о Соне, уничтожил у себя в комнате все следы ее пребывания, очистил книжные полки, ящики и карманы от каждой фотографии, каждой бумажки, оставшейся от нее, все упаковал, завязал бечевкой и задвинул в подвал на даче у родителей. Отец лишь устало усмехнулся и затем сунул ему в руки трактат Овидия. Рецепты от мук любви. В своих рассуждениях поэт предлагал пережить воспоминания при помощи парадокса, взяв память на службу забвения. Отвергнутый любовник должен как можно живее представить себе, какой отвратительной в действительности была его возлюбленная. Была ли она женственно округлой? Значит толстая. Была ли она хрупкой и стройной? – Тощая. А ее характер! Разве он забыл, какой она была расчетливой, алчной, капризной, черствой и, – как в том теперь не могло быть сомнений, – ветреной?

Самую главную заповедь Овидия Штефану приходилось нарушать каждый день, и он ничего не мог в этом изменить, так как поэт рекомендовал влюбленному избегать всех тех мест, в которых просыпались прежние чувства, где под пеплом могло вновь вспыхнуть пламя, и уж во всяком случае следовало обходить стороной те места, где, что было бы хуже всего, он мог снова встретить ее. Но Штефан работал вместе с Соней Крамар, лечил с ней пациентов, видел ее на обсуждениях и обходах, должен был встречаться с ней глазами, и не мог выдержать ее взгляда, и не мог от него ускользнуть. Когда она была рядом, ему хотелось убежать, когда ее не было, ему не хватало ее.

Он жил в четвертом округе, на Хоймюльгассе⁶, и чтобы посетить пациента на Легаргассе, ему не нужно было далеко идти. Он вышел на улицу, прошел вдоль нескольких домов, пересек Правую Винцайле⁷, лавируя между стоящими в заторе машинами. Штефан хотел поспешить дальше к больному, проскочив сквозь Нашмаркт⁸, но закружился в толчее толпы, протискивавшейся субботним утром между рыночными киосками и павильонами, выкрашенными болотной зеленью и покрытыми матово-желтыми крышами, и по обоим главным проходам с лавками, от пояса вверх заставленными рядами плодов, растений, трав, сыра и выпечки, деревянных ящиков, картонных стеллажей и пластмассовых коробок, полных товара, в разные отделения которых были воткнуты палочки с черными или асфальтово-серыми шиферными табличками, на которых было зафиксировано, что сколько стоит. Над ними вздувались на ветру пестрые навесы. Штефан утонул в

хороводе голосов и больше не слышал шума машин. Торговцы воспевали свой товар, приманивая его. Он погрузился в смесь острых ароматов и сладких благоуханий. В окне восточной лавки он увидел сотни пакетиков с пряностями, на каждом была бумажка с указанием характера и применения данной специи. Он проходил мимо японских будок суши, магазинов с китайскими деликатесами, мимо марокканского ресторана, индийского, персидского, турецкого, мимо кофейни-эспрессо и итальянской пиццерии. Вид венской харчевни и киоска с колбасками вызвал у него отвращение в это августовское утро, ибо к грубоватой отечественной кухне его тянуло только в осеннюю погоду. В густой толпе этого летнего утра люди легко сцеплялись друг с другом. Торговец квашеной капустой, о котором поговаривали, что ему приходилось уже продавать и другую травку, погорячей, кричал на своего польского помощника, ибо велика была суета в выходные, и дело пахло жареным. Продавец выловил большими деревянными щипцами соленый огурец из бочки и протянул его покупательнице. Женщина запрокинула голову и откусила от капающего плода. Зазывала точил нож и распевал: «Дешевый-дешевый кебаб.» Китайская лавочница звала своего крашеного под блондина сына, как раз намылившегося сбежать, ругалась ему вслед.

Он узнал это место еще будучи ребенком, держась за руку матери. Она приходила сюда по будням за покупками с другой стороны, от Драйхуфайзенгассе⁹, как в те времена еще называлась Легаргассе, так как не довольствовалась верхним Нашмарктом, находившимся на краю центра города и расположенным в топографическом отношении, собственно говоря, ниже так называемого нижнего Нашмаркта, но цены там были существенно выше. Одну овощную лавку недалеко от старой квартиры фрау Зандтнер обходила стороной, и каждый раз, проходя мимо, громко заявляла: «Пойдем, Штефан, за салатом мне не нужно в аптеку», ибо цена салата там напоминала ей, как утверждала Анна Зандтнер, стоимость редкого, недоступного медикамента, которую рассчитывали на фармацевтических граммовых весах. Пренебрегая этим заведением, она, однако, была горячим приверженцем дорогущей соседней рыбной лавки. Хайнц Цедничек знал, в какой день зайдет его постоянная покупательница, и, завидев почтенную фрау докторшу, он и его жена расплывались в улыбке, зная, что сейчас будут свежевать рыбу, он точил нож, она пододвигала кресло, шутила с маленьким Штефаном, с открытым ртом следившим за тем, как свежий карп или форель или морской черт вылавливался из аквариума, и одним ударом очищалась и разделялась еще трепещущая плоть, и если только сударыне угодно посмотреть, пожалуйста, без костей, как было сказано.

Тридцать лет спустя нижний Нашмаркт, расположенный выше по течению реки, все еще был дешевле, но и здесь возник некий паноптикум из блюд и национальных кухонь, центр иммиграции, постоянная всемирная выставка кулинарных изысков. Штефан продирался сквозь джунгли фруктов и овощей, яблок и груш, фиг и фиников, репы и редьки, клубней и корней, киви и вишни, топинамбура и томатов, бананов и папайи, манго, мангольда и мандаринов.

Это место было отдельным миром, островом посреди метрополии. Рынок лежал зажатым между Правой илевой Винцайле, над отрезком реки Вин, уже более ста лет заточенным под землю, окаймленный густым потоком машин, протянувшись над каналом от Карлсплаца¹⁰ и Сецессиона¹¹ до самой Кеттенбрюккенгассе¹². Речку изгнали с поверхности земли, чтобы установить порядок. Но, несмотря на все усилия, над каналом волновалась жизнь, более бурная, чем в окрестных районах.

Здесь, в нескольких метрах от двери его дома, находился Нашмаркт, одна из самых своеобразных достопримечательностей города и целый город собственных достопримечательностей. Если бы не Гутман, Штефан целый день плесневел бы перед телевизором. Это следовало изменить. Когда-нибудь ему придется перестать прятаться за своими занятиями и своей депрессией, подумал он, уставясь на лавку, ломящуюся от восточных лакомств, теряясь в изобилии оливок, брынзы, бёрека¹³, миндаля, лепешек и колец с кунжутот. Тут он услышал позади себя женский голос с гортанным акцентом: «Больше, больше, пока я не скажу хватит», и там она стояла, широко расставив ноги, выставив большой и указательный пальцы пистолетом, целилась в продавца, а тот, сдерживая смех, изображал испуг: «Не стреляйте, пожалуйста», и ссыпал фисташки на весы, а она: «Еще, еще и... стоп. Все.» Юный продавец схватился за грудь: «Прямо в сердце», и, упаковывая орехи: «Так, пакетик фисташек. Что еще желаете?»

«Это все.»

На что он: «Больше ничего? Совсем одна сегодня?», чтобы, когда она приподняла левую бровь и скривила рот, вежливо добавить: «Двадцать, пожалуйста. Большое спасибо. Хороших выходных.»

Штефан уставился на нее. Темный пушок заползал из под ее ушей на щеки, и в ярком свете можно было различить легкие усики на верхней губе. Высокие скулы и большие темные глаза, оливково-смуглая кожа и черные локоны заставляли ярче гореть карминно-красным накрашенные губы. В своей простой одежде, топе цвета апельсина-королька и узких темных брюках, она выглядела изысканно, даже как она выступала в своих черных пляжных шлепанцах, производило непринужденное, но при этом элегантное впечатление, и все вокруг нее приходило в волнение.

Штефан вспомнил о наставлениях Овидия. Новая любовь заставит забыть о старой. Если бы его спросил пациент, можно ли от такого чудодейственного средства ожидать спонтанного исцеления от меланхолии разлуки, невропатолог Штефан Зандтнер, пожалуй, указал бы на то, что нельзя принудить чувства, перепрыгнуть по собственному желанию через период скорби по разрушенным отношениям, не задумываясь стереть воспоминания. Но при виде этой незнакомки он сам начал верить, что эта женщина может его спасти.

«Штефан!» Перед павильоном из сочно-зеленой стали и стекла сидели Софи, Лев, Патрик и Том Вандрушка. Хотя было еще только пол-одиннадцатого, здесь собрались уже десятки людей. Лишь немногие столики были пока свободны, и постепенно подходили еще посетители. За стеклом в глубине у стойки стояли Флорентина Розалес, певица из Рио, и Роберто Клаубер, химик из Сан-Паоло, и махали кому-то снаружи.

Софи Визен потягивалась на утреннем солнце, глаза ее защищали темные очки, золотистые волосы переливались в ярком свете. Туфли она скинула. Ее майка цвета фламинго не доставала до короткой синей юбки. Родители Софи произносили ее имя с ударением на втором слоге, на французский манер, и это произношение а ля Шенбрунн¹⁴ должно было внушить всем, и в особенности самой молодой женщине, что речь идет о девице из благородного дома. Софи не желала так называться, и произносила собственное имя с ударением на первом слоге, почти как в Соферль, только что в такой простонародной уменьшительной форме и вовсе никто не имел права ее называть. Ничто в ней не должно было производить аристократическое впечатление, ничто не должно было звучать по-деревенски. Софи, как она это произносила, рифмовалось с англосаксонским «кофе», и в этом слышалась вся ее тоска по урбанизму и современности, по Нью-Йорку и Лондону. «Штефан, ты на Нашмаркте?»

«По дороге к пациенту.»

Он знал Софи с детского сада, ходил вместе с ней и Львом в гимназию, и еще с тех пор в их окружении заключали пари, когда же они, Штефан и его подруга юности, наконец-то сойдутся. Вместо этого друг на друге зациклились Софи и Лев Файнингер, но не оставались вместе. Вот уже несколько недель, как они в очередной раз окончательно разошлись, чтобы навеки остаться добрыми друзьями.

В пятом классе Софи покинула гимназию Штубенбастай¹⁵, чтобы поступить во французский лицей, но контакт между ними не прервался. Между обеими школами протянулась некая нить. Так Патрик Мутабо, сын конголезского дипломата, был звездой всех вечеринок, душой общества, вблизи него остальные казались себе многоцветными, как бы по ту сторону черно-белого. Патрик поздоровался вежливо, но без улыбки.

Лев Файнингер за десять лет не стал выглядеть старше. Он был родом из Москвы, эмигрировал со своей семьей в семидесятых через Вену в Израиль, а в восьмидесятых через Тель-Авив в Австрию. Здесь Лев изучал лингвистику и социологию, а в настоящее время принимал участие в работе над проектами различных исторических экспозиций.

Штефан заказал кофе меланж¹⁶, пока Патрик рассказывал об одном экспериментальном фильме, основанном на драме Музиля «Мечтатели», который он видел в Брюсселе. На что Том, студент киноакадемии, завел разговор о другом бельгийском фильме, название которого он забыл, жестокой сатире, в которой команда репортеров занималась своей работой, отслеживая профессионального киллера, который в свою очередь занимался своей работой, то есть убийствами. «Человек кусает собаку», – перебил его Лев, – он помнит этот фильм, а Патрик воскликнул: «C'est arrivé près de chez vous»¹⁵, – ему это произведение не понравилось, так как оператор впал в тот самый вуайеризм, который намеревался разоблачить. Они спорили

о войне в Боснии, жаловались на свою бездеятельность и бездействие западной политики, и Штефан, который выпил уже вторую чашку кофе, заметил, что ему, несмотря на диспут о массовых убийствах и изнасилованиях, не хочется уходить, и что ему в этом кругу так хорошо, как давно уже не было.

Софи спросила, что он собирается делать после визита к больному, на что он: «Мне надо работать», но она уже не слушала, а вскочила с криком: «Флора!», и тогда он снова увидел ее, незнакомку с фишашками, густые черные волосы, корольково-апельсиновый топ. Женщины, смеясь, обнялись, и Том Вандрушка тоже поздоровался с Флорой, пригласил ее за их столик, но незнакомка объяснила: «К сожалению, мне еще нужно кое-что купить. Что ты делаешь позже?»

«Подходи потом, вместе поедем.»

«Чудесно.» В этот момент Штефан Зандтнер отбросил все планы на сегодняшний день, решил не работать больше над своим проектом, не думать о постановке целей исследования. Ему нужно было быстро идти к Керберу, чтобы успеть вернуться, когда эта женщина, Флора, придет есть вместе с другими. Едва Софи села, Штефан встал и сказал, что вернется, как только освободится. «До скольких вы будете здесь?»

«Если мы уйдем до тебя, я наговорю тебе на пленку.»

Как только он, открыв тяжелые ворота, вошел в старый дом на Легаргассе, его охватила прохлада от толстых стен, и ему показалось, что он снова стал ребенком, так осторожно и тихо он прокрался мимо квартиры фрау Гераль, привратницы. Он позвонил в дверь бывшего интерниста, и в тот момент, когда старик открыл, Штефан понял, почему этот человек внушал ему такой страх в детстве, в лицо ему пахло шнапсом.

Поздно вечером после работы доктор Кербер возвращается пьяный, вваливается в дом, поднимается, спотыкаясь, по лестнице, и маленький Штефан боится встретиться с ним, уклоняется от его, от его мутных молочно-стеклянных глаз, от его пьяного ора, вони... но взрослый человек, – большой нос, тонкий рот, длинные паучьи пальцы, – шатаясь, приближается, надвигается на него.

От пенсионера доктора Герберта Кербера в болотно-зеленом жилете и коричневых вельветовых штанах больше не исходило ничего опасного. Он осторожно высунул наружу лысую голову. Оглядел Штефана. За толстыми стеклами очков зрачки казались огромными. Его орган обоняния распух, мясной клубень, красный огурец. Рот при этом казался еще тоньше, чем обычно. «Да? Что вам угодно?»

«Добрый день, герр доктор Кербер. Меня зовут Штефан Зандтнер.»

«Мы знакомы?»

«Вы знали меня ребенком.»

«Вот как? Мы играли вместе? Как забавно. Да, много воды утекло с тех пор. Извините, что я вас больше не помню, но нам пришлось пережить ужасные времена, не правда ли? Да что я вам рассказываю? Вы ведь знаете, о чем я, и мне не следует жаловаться. *Tempora mutantur*¹⁸. Главное, жизнь продолжается.»

«Безусловно.» Ему нужно было как-то пробраться в квартиру. «Я стал врачом, доктор Кербер, как вы.»

«Ну, тогда мы коллеги. Прекрасно! Вы пришли ко мне по медицинскому вопросу?»

«Именно поэтому. Речь идет об одном очень интересном вопросе. Мне надо с вами поговорить», сказал Штефан, и это даже не было ложью.

«Понимаю, герр...»

«Доктор Зандтнер.»

«Доктор? Да, да. Случай, в котором я могу быть вам полезен? Замечательно! Но вы заходите. Великолепный денек, правда? Вы видите, я живу здесь совсем один. В настоящий момент. Здесь достаточно места, даже немного слишком. Я живу уединенно, но, надеюсь, это скоро изменится. С учетом обстоятельств я живу неплохо. Да, да», он побежал в шлепанцах вперед, через старую квартиру, в которой Штефан в последний раз был более двадцати пяти лет назад, и которая очень изменилась. Почти все вещи были вынесены из комнат. Ничто не напоминало о сыне и дочери. В гостиной тикали напольные часы. Над диваном висела натуралистическая картина; панорама деревни в горах. Рядом с ржаво-коричневой кафельной печью на столе стояла пожелтевшая фотография молодой красивой женщины, и Штефан не сразу узнал покойную Франциску Кербер, мать Бэрбль и Ганса. На этом снимке она смеялась. Тогда у нее еще не было этого вечного

страдальческого выражения на приветливом лице, страха. Как ее мучил муж. Соседи любили и жалели ее, но никто не вмешивался, когда герр и фрау доктор Кербер ссорились.

«Моя жена. Мне не хватает ее. Без нее... Но разве так встречают гостей? Угощаю вас рассказами всухомятку. Можно вам предложить, герр...»

«Зандтнер.»

«Да, да. Кофе? Чай?» Следующий вопрос он почти пропел: «А, может быть, стопочку коньяку?»

«Нет, спасибо.»

Пока еще ничто не указывало на спутанность сознания. Не было признаков депрессии. Скорее наоборот, может быть, легкая гиперактивность; но если этот человек встретится кому-нибудь на улице, никто не подумает, что с ним что-то не в порядке.

«Какого вы года, герр доктор Кербер?»

Больше ему ничего не понадобилось говорить, чтобы старик пустился в воспоминания и с рвением отвечал на вопросы, которых Штефан вовсе не задавал. В тысяча девятьсот семнадцатом он родился, и он рассказал об отце, офицере имперской армии, о матери, не забыл и обеих сестер, описал городок, в котором вырос, и школу, в которую ходил. Он еще помнил своих друзей, своих учителей, свою любовь к естественным наукам и математике. В тридцатом году семья переехала в Вену. Здесь он сдал экзамен на аттестат зрелости, изучал медицину и женился. О жене он говорил восторженно, как юный влюбленный, и ничто не напоминало того мужа, которого Штефан знал в детстве, того властного, черствого супруга без намека на нежность. Кербер не умолчал и о том, что был нацистом. Еще до аншлюса он вступил в партию.

«Я полагаю, нынче об этом лучше не говорить? А где вы служили, герр...»

«Зандтнер. Я был на гражданской службе, в министерстве внутренних дел.»

«Вот как? В министерстве? Очень хорошо. Ну, вам-то я могу сказать. Я был в СС. Потому-то я и предпочитаю находиться здесь.»

«Здесь?»

Кербер рассказывал о восточном фронте, о походе на Россию, называл отдельные города, имена офицеров. Это было удивительно. Он ничего не забыл. Потом он заговорил о лагере, о разжиревших крысах, бегавших по баракам, о живых скелетах, которых у него, унтерштурмфюрера доктора Кербера, было в избытке, да, он так и сказал, в избытке.

«Я вам говорю, это неопишимо, что мне пришлось пережить», говорил Кербер.

Болтая о войне, он был очень оживлен. Не о прошлом, а, казалось, о непосредственном настоящем были его истории, и он живо описывал поражение, как он пробивался в Вену, как спрятался в этой квартире, чтобы найти свою жену.

«Франци у родителей; в деревне. Это квартира ее семьи. Я пока останусь здесь и буду ждать ее. Я здесь скрываюсь. От русских. Потом будем пробиваться в зальцбургские края.»

В Штефане росло подозрение: «Простите, герр доктор Кербер. Я что-то немного запутался. Вы не могли бы мне сказать, какой у нас нынче год?»

«Сорок пятый, конечно. Что вы имеете в виду?»

«А сколько вам лет, герр доктор?»

«Мне двадцать семь.»

Невропатолог полез в карман и вытащил маленькое зеркальце. «Герр унтерштурмфюрер, что вы видите? Это разве двадцатисемилетний человек?»

Кербер побледнел, схватился за сердце.

«Боже мой. Что это?» Он вскочил, отпрянул от своего отражения и закричал: «Что случилось? Что это? Что вы здесь делаете? Я Герберт Кербер, вы слышите, унтерштурмфюрер Кербер, я доктор медицины, я, доктор Герберт Кербер.» Он сделал паузу, чтобы набрать воздуха, пошатнулся и прошептал потерянно: «Что же это такое?»

«Ничего», сказал Штефан, пряча зеркальце. «Маленькая шутка. Посмотрите-ка», он указал на окно. «Идите сюда. Разве не великолепный день сегодня! Слышите, как играют дети?»

Кербер успокоился. Штефан подал ему стакан воды и потихоньку вышел из комнаты.

Он подождал пару минут, затем опять вошел.

«Герр доктор Кербер?»

Кербер отвернулся от окна, обернулся к нему. Он сиял: «Да? Что вам угодно? Мы знакомы?»

«Добрый день, герр доктор Кербер. Мое имя доктор Зандтнер. Я врач, как и вы.»

«Замечательно. Чем я могу быть вам полезен?»

«Мы с вами уже встречались раньше?»

«Думаю, нет? Или да?»

Он жил в другом времени, или, вернее, не жил, а потерялся в нем, вмерз в него. Он выпал из этого мира, но не был и в своем, скорее всего он не жил ни в каком времени, оказался пленником, у которого даже не было своей камеры или какого-нибудь карцера, не было никакой внутренней опоры, ибо все в нем и вокруг него разваливалось от одного мгновенья к другому.

«Вы ждете свою жену, Франци, герр доктор Кербер?»

«Да, откуда вы знаете? Вы знакомы с моей женой? Это Франци вас прислала? Она скоро приедет? Вы могли бы ей передать, что я не могу выйти из дома?»

«Я знаю, герр унтерштурмфюрер.»

«Да, да, конечно, я был в СС. Но теперь я жду Франци. Она у родителей; в деревне. Скажите ей, мы все начнем сначала, заживем по-семейному. Я хочу быть просто врачом. Это были страшные времена.»

Больше всего Штефану хотелось схватить старика за горло, но он лишь улыбался, пока его голос сам собой становился ледяным: «Для вас, герр унтерштурмфюрер? Разве вы не были у власти? Убийца тысяч людей, детей, женщин и стариков? Властелин жизни и смерти?»

Кербер вздрогнул, покрутил головой и плечами, поправляя воротник: «Вы преувеличиваете. Я лишь выполнял свой долг. Конечно, это было ужасно, но если бы не я это делал, то кто-нибудь... И потом, что бы было со мной? Это было ужасающе. Я вам говорю, то, через что мне пришлось пройти, неопишимо. Я больше не хочу об этом говорить, и я больше ничего не хочу обо всем этом слышать, о нашей так называемой вине и о горах трупов. Хватит об этом. Сколько еще? Война кончилась, к счастью.»

Кербер подошел к Штефану так близко, что невропатологу ударил в нос запах перегара в дыхании старика, так, что даже немного закружилась голова, и на какой-то миг молодому врачу даже показалось, что это он, а не бывший унтерштурмфюрер, потерял ориентацию во времени и пространстве, застрял в сорок пятом году, когда Кербер выдохнул: «Разве вы не понимаете? Война позади. Когда-то должен быть конец.»

¹Lehargasse (нем.) – переулок Легара (здесь и далее примечания переводчика)

²meschugge (идиш) - сумасшедший

³Garçonnière (франц.) – маленькая квартира на одного человека

⁴(англ.) – «Истории в почти классическом стиле» Гарольда Бродки

⁵Lokal (от лат. locus – букв. место) – любое публичное заведение: ресторан, бар, кафе, пивная, клуб и т. п.

⁶Neumühlgasse (нем.) – переулок Сенной мельницы

⁷Wienzeile (нем.) – набережная по обеим сторонам реки Вин, притока Дуная

⁸Naschmarkt (нем. – букв. рынок лакомств) – центральный продовольственный рынок в Вене

⁹Dreihufeisengasse (нем.) – переулок Трех подков

¹⁰Karlsplatz (нем.) – площадь св. Карла

¹¹Sezession (франц. – букв. отпадение) – один из выставочных залов в Вене

¹²Kettenbrückengasse (нем.) – переулок Цепного моста

¹³Börek (тюрк.) – турецкий слоеный пирог с мясом или брынзой и шпинатом

¹⁴Schönbrunn (нем.) – дворец, бывшая летняя имперская резиденция в Вене

¹⁵Stubenbastei (нем. – букв. комнатный бастион) – гимназия названа по ранее располагавшейся на этом месте куртине, в свою очередь получившей имя от близлежащих бань, называвшихся тогда «банными комнатами»

¹⁶Melange (франц. – букв. смесь) – кофе со взбитым на пару молоком

¹⁷(франц.) – «Это случилось рядом с вами» (оригинальное название фильма)

¹⁸(лат.) – времена меняются